

Дмитрий Фурманов

Как убили Отца



Дмитрий Андреевич Фурманов

Как убили Отца

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5735747*

Аннотация

«...Отчего же в эту хмурую хлябь, в гнилую октябрьскую пасмурь так неистово ликует город, черный город Иваново-Вознесенск? Откуда эти праздничные толпы, куда они, ткачи, устремили взволнованный песенный бег?

Просторные улицы, щели-переулки, корявые ладони площадей затонули людскими потоками...»

Дмитрий Андреевич Фурманов

Как убили отца

Над фабричными корпусами, над лабазами, над сизыми колокольнями Воздвиженья, Вознесенья, Покрова встала грузная темень. Гонимые ветрами, мчатся по облачному небу кавалькады набухших дождями туч. Осень-осень... Поздняя, знобкая, переветренная осень...

Отчего же в эту хмурую хлябь, в гнилую октябрьскую пасмурь так неистово ликует город, черный город Иваново-Вознесенск? Откуда эти праздничные толпы, куда они, ткачи, устремили взволнованный песенный бег?

Просторные улицы, щели-переулки, корявые ладони площадей затонули людскими потоками.

Под топот тысяч ног, в такт, выбивают марш:

В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

И откуда-то с дальних улиц раздольными раскатами рокочут бесповоротные клятвы «Варшавянки».

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,

В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут...

Толпы вмываются в толпы, факелы – в факелы, смешались знамена в багровом плеске, катит валами густая черная людская волна...

Против Воздвиженской бледной колокольни, вниз под горку, каменный белый дом: клуб господ приказчиков!

В этот вечер все переулочки тянут тонкие лапки только сюда: в этот вечер у клуба приказчиков людный митинг, городское торжество. Кто-то неведомый скажет и расскажет, как над городами российскими, над полями сермяжными выплыл царский дар:

– Конституция.

– Манифест семнадцатого октября.

Вот откуда и пенная радость города, вот почему и в хмурь и в ветреную непогодь, перекликаясь победными песнями, сомкнулось к клубу людское множество.

Собирался комитет большевиков. Он чуял цену государеву манифесту. Звонкие побрякушки обетов царских ему не застилали чуткий слух. Расцветенные паникадила поповских клятв не заслепили зоркого зора.

Комитет большевиков стоял на посту: сторожил многоголосую детскую радость.

Но даже и в сердца большевистские тонким хрустальным звоном стучала надежда.

Чуялась тревога под строгой мыслью, но радостью звенело жаркое сердце:

«Да-да-да»: и манифест – шаг вперед!!!»

Недаром сегодня о манифесте – какой митинг!

Сегодня все речи – только о свободе!

– Да здравствует свобода!

И эти тысячи, десятки тысяч горожан все в один крик:

– Ура!.. Ура!.. Да здравствует свобода!

Кому теперь какое дело, кто и какую хочет свободу: в эти склизлые октябрьские дни всяк по-своему видит весну.

– Председателя! Выбрать председателя!

И толпа заухала желанные имена. Помчали, заметались, зааукались они меж каменных стен домов, колоколен, заборов. Казалось, и колокол древний что-то смутное гудел в густой вышине, казалось, что-то вскрикнуть рвались хлеставшие по ветру знамена; захлопали факелы судорожными кровавыми языками.

Билась площадь перед белым домом в страстной охоте.

И вдруг на факельную розовую тень всунулось круглое лицо Странника в сивой щетине усов.

По-зверьи сверкнул зеленый взор, остро в тьму всекся вскрик:

– От-ца!

И как слышали теперь накаленные толпы факельников это родное, жданное имя (где ты, имя-пушинка, в тысячелотном гудном реве?):

– О-Отца... Отца... Отца...

Вышел на факельный свет Отец – Федор Афанасьевич Афанасьев, старый ткач.

Знает его весь рабочий люд. Знает и бережно любит. Знает, что был и бился Отец в рабочем Питере, что вступил он на этот путь еще в те далекие дни, когда шли в боевой шеренге незабываемые Петр Алексеев, Степан Халтурин.

Эх, куда, в какую глубь уходят Отцовы дни!

А в первый – первый! – майский в России день были сказаны четыре речи.

Одну из четырех говорил Отец.

Вот он вышел на розовый отсвет огней в черном пиджачке, – пальтишко поверх, – в черных штанах, сдвинута кепка на лоб. Высушили долгие годы нужды и борьбы: худ, сух и высок Отец, как изъеденный ветрами сухостойный клен.

Хилое, старое тело опер на костыль – бодрится и держится прямо, а немочь клонит к земле.

Вот он левой рукой огладил в ожиданье черную в проседи бородищу, подергал широко заросшие усы, потрогал старческие, шнуром чиненные очки на крутом носу, – все ревела от радости бескрайной толпа:

– Отца... Отца...

Ссохлось в глубоких морщинках изжитое лицо; казалось, остыло оно в молчаливом, в укрытом горе, но посмотрите, вы гляньте в этот миг на Отца: из впалых, глубоких орбит совсем по-молодому, как у раннего юнца, загорелись чистые

глаза старика... Да и полно, какой он старик: Федору Афанасьевичу нет и полсотни лет.

– Ти-шше! – зычно и резко сорвал Павел Павлыч гам. Павел Павлыч – рядом с Отцом, близкий друг, большевичище: сутул, кряжист и против Отца – как дедушкин внук.

– Ш...ш...ш... Тш...ш... Цс...с...с...

По горке, на Панскую улицу, в переулке зашипело, засветило в темноте. И вдруг тихо встало.

Тогда медленно переложил Отец из правой в левую костыль, молодо вскинул голову, поднял высоко тощую руку, – толпа вздрогнула, услышав родное:

– Та...ва...рищи!

Красным ситцем обернут клубный фонарь, трепетно бьются красные знамена, плещутся факелы в багровой полутьме, словно цветы полевые здесь и там, здесь и там красно-платные головы ткачих.

У Отца на груди – и у множества – красные ленточки вшиты в самое сердце...

– Товарищи!

И треснутым счастливым рокотом держал Отец свою предсмертную речь.

– У меня нет слов... чтобы сказать, как рад... такая великая честь: вы избрали меня председателем первого свободного митинга; свободного митинга свободных граждан.

Товарищи! Спасибо вам за эту честь.

Долгие десятки лет ждал я такого момента... Свободу

ждал... И вот – дождался наконец, мы с вами теперь свободны...

В сердце старика тонким хрустальным звоном стучалась надежда:

«И этот манифест – шаг вперед».

Вспомнились Отцу долгие годы непросветной маяты, светлым лучом полоснули по сердцу эти октябрьские дни. Он стоял теперь под знаменами и верил, верил, что победа близка.

Оттого и дрожал, срывался старческий голос, оттого подчиненными шнурочком очками скатывались в щели морщин слезы.

Вдруг показались казаки. Цокали по камням подковы. Плети готовы в руках. За плечами винтовки в заряде.

Сомкнулась толпа, зарычала, угрозила камнями. Кожеловский – полицмейстер – казаков увел в казармы.

Говорил Павел Павлыч. Потом говорил Одиссей: косматый, голосистый, любимый. Говорил Странник – Семен Балашов, покрывал он площадь сердитым, режущим криком, не верил царским свободам, неверьем пронизал, насторожил притихшие толпы. Около стоял и рвался к слову пламенный Арсений – юноша Миша Фрунзе; с Мишей о бок – Бубнов Андрей, Химик, с Химиком – Станко, беззаветный Станко, вождь боевых дружин; Шорохов, Дмитрий Иванович – ткач, большевик; Федор Самойлов, что в царскую думу ходил потом от рабочих, Маша Труба – все они здесь, бойцы подпо-

лья, кольцом сомкнулись вокруг Отца.

И в полночь, когда росой заиндевели крыши, а острый ветер стих, – потушили красный фонарь у клуба, и торжественные толпы потекли по улицам и переулкам; рдяные факелы отмечали их путь.

«Марсельеза» и «Варшавянка» грохотали над городом.

Поодаль сторожили казацкие сотни.

Это было двадцатого октября.

Двадцать первого целый день город захлебывался в праздничной радости: по улицам ходили с красными флагами; ораторы на перекрестках держали речи:

– Права... Свобода... Конституция...

Двадцать второго на главной площади, перед управой, с утра собирался город: большевики готовили митинг – здесь холодно и строго надо было вспороть живот манифесту.

И снова в центре, вокруг трибунной бочки – большевики. Веют весело легкие знамена. И словно дуб в кустарной поросли – раскинулось над площадью огромное черное полотнище:

«Слава павшим борцам за свободу».

Это поминают рабочие тех, что недавно, в июньские дни, на Талке погибли в казачьем налете.

И сразу – на площади – тихо.

Вырос на бочке Странник:

– Товарищи! Прежде чем открыть – почтим память наших лучших... расстрелянных на Талке...

Встрепенулась густая площадь, сняты рабочие кепки, вмиг остыли веселые лица. Тихо и грустно, все вырастая слезами и скорбью, мужая гневом, – поплыл над мертвой площадью похоронный гимн:

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
Любви беззаветной к народу...

Вспоминали павших. Вспоминали близких... Вспоминали любимых. Женщины плакали, красным платком утирая слезы.

А гимн, как волны в шторм, все мчал вперед, крепчал в борьбе, раскатывался клятвами в неотмщенных колоннах ткачей:

Настанет пора, и проснется народ.
Могучий, великий, свободный!

Когда оборвали последнее слово – долго недвижная, страшная стояла молча блузная рать.

Митинг открывался. Был полдень – двенадцать часов. Ночь напролет лил зычный ливень – дороги взмешаны, как тесто в квашне. Мокры асфальты, в поту мостовые, после ночного ливня нервно сечет толпу колючий наследыш-дождь. Небо в табачных мутных тучах. То сгущаясь, то бледнея, – трудно повисли они в морозящей мгле. Сиверко. Зябко. Изморозь дрожью бежит по рядам. Осень-осень: глу-

хи октябрьские дни.

Сжались большевики у трибунной бочки. Ночью заседал комитет, распределяя – кому что говорить: о политическом режиме, об экономике рабочего, о безработице, вспомнить 9 января – связать его с царским манифестом...

Каждому точно, коротко сказана роль; каждому место – кто за кем. Говорил Странник – Семен Балашов, говорил Одиссей, вырвался на бочку Фрунзе и площадь покрыл негодующим, резким словом:

– Не верьте, не верьте, не верьте царю... Это только лоушка. Рабочие должны продолжать борьбу...

И дружно в ответ гудел синеглазый улей, загорались глаза боевым запалом, билось сердце в ответном крике.

– Долой! – крикнул кто-то издалека.

– Долой... долой!.. – загалдели с Торговых рядов, и эхом перекатились крики в Крестовоздвиженских переулках. Шевелилось казацкое кольцо зловещим шелестом, нагайки треплют по бедрам коней.

Мужественный Станко рассыпал в толпе боевиков – сжали боевики в карманах браунинги. Над площадью свисли грозные тучи.

На площади против управы, под навесом – торговый пассаж. Сюда стянулись торговцы, мясники, огородники, городские чистоплотники – расползлись они по переулкам, густели, обрастали, смелели. Но лишь только огромным шерстатым зверем начинала рычать рабочая рать – смолкали пас-

сажники, ныряли в гущу, понимали бессилье перед этой безмерной силой. Крики – вскриками, но идет митинг неумолимым ходом, говорят свое большевики – и снова безмолвна площадь.

Встал на бочку Отец: сухи и строги выцветшие глаза, тих усталый, ломкий голос:

– Товарищи. Мы на свободе здесь говорим про свои дела, а рядом, в тюрьме, томятся наши товарищи... Мы обязаны их освободить...

И лишь только сказал – колыхнулась площадь, вскричала крепким, радостным криком:

– На тюрьму! На тюрьму!

Вполз на бочку Добротворский, полицейский чин, заявил, что «беспорядков власть не потерпит», но потонули жалкие слова в тысячеустых криках:

– Освободить! На тюрьму!

И лава тронула – мимо Воздвиженской церкви, по Приказному мосту, к городской тюрьме.

У тюрьмы взвод солдат мрачнел винтовками.

Солдатам не было приказа стрелять. Перепуганные тюремщики отдали грозной толпе томившегося большевика – в городской был только один заключенный.

– На Ямы! В Ямскую тюрьму!

И снова тронулась масса – мимо Колбасного угла по широкой Соковской улице...

Ямы – рабочий квартал. На Ямах нет ни асфальтов, ни мо-

стовых. Ямы, как скотное стойло, затонули в смраде, в грязи, в нищете. Что ж, в самом деле: чистой публике города незачем быть в этих трущобах, чистая публика города ходит окольными путями.

Октябрьские ненастные дни, густые октябрьские ливни взмесили непролазным месивом ямские колеи – ни пешему, ни конному ходу нет, – жили, как на острове, ямские ткачи.

Катилась по Соковской митинговая рать. У церкви Александра Невского, на перепутье, выскочили казаки:

– Разз-зойдись!

Но жалки и бессильны над головами повисшие нагайки. Взрыкнула толпа, заворочала булыжники, станковские боевики сверкнули оружием.

Подались казаки с пути – лава катилась вниз, на мост. И когда окунулись в аршинное месиво – кучка за кучкой отлипала в пути, жалась к палисадникам, оставалась на мостовой; обернулись грудками митинговые массы, заредели горестные ряды, к тюрьме Ямской подступали не тысячи – сотни.

Сотни вели большевики.

У Ямской тюрьмы – казацкие заслоны. Сотням не взять заслоны с бою. Говорить с казаками пошел Отец, вместе с Отцом – Павел Павлыч.

Что было казаку рабочее слово? Бились в глухую тюремную стену отцовские слова. Из тюрьмы казаки никого не отдали. Уходили рабочие вспять – путь держали на Талку, на

речку, где летом бурно собирались бастовавшие фабрики.

Когда миновали Ямы, на Шереметьевской путь пересекла черносотенная гуща. Эту гущу, как ушли рабочие, поили водкой на Управской площади, кадили кадилами попы, купцы натаскали к ней икон и царских портретов, раздобыла черная сотня трехцветные знамена, шла теперь хмельная и буйная, пела «Боже, царя храни».

Поодаль, мерно колыхаясь, желтели широкими лампасами астраханские казаки, охраняли черную стаю. И лишь завидели с Ям полыхавшие красные знамена остервенелые мясники, торговцы, огородники, пьяное отребье, кинулись с визгом и уханьем, скакнули вперед казаки, в сочном месиве ямских переулков избивали рабочих.

Уцелевшие перебежали Шереметьевское шоссе, с оставшимися знаменами побежали на Талку. Ковылял измученный Отец, ворчал сердито:

– А знамя где?

– Взяли, Отец, – ответил скорбно чей-то голос.

– Взяли? Без бою взяли!

И он сурово глядел через очки сухими печальными глазами.

Уж сумерками наливался октябрьский день, когда прибежали на Талку. Вечерние туманы спадали на тихое, пустое поле. Ямские сотни обернулись десятками. В горе стояли у мостика, тихо, словно в покойницкой, говорили о шереметьевской бойне, считали редкие ряды, свертывали знамена.

На пустынном лбище приречного луга застыли крошечной кучкой. Струилась Талка жалобными тихими струями. Стоял немой и черной стеной молчаливый бор. Мерно вздрагивали в шелестах густые мохнатые лапы сосен.

В это время издалека прояснилось смутное пятно черной сотни – она валила на Талку. Позади, как там, на Шереметьевской, вздрагивала казацкая конница.

Решили отойти за мостик, – встали около будки, у бора. И когда ревушая пьяная ватага сомкнулась на берегу – заорала к будке:

– Высылай делегатов... Давай переговоры!

Стояли молча большевики. Никто не тронулся с места. И вдруг выступил Отец, за ним Павел Павлыч. Их никто не вздумал удержать – двое через луг ковыляли они на речку. Вот спустились к мостику, перешли, встали на крутом берегу – их в тот же миг окружила гудущая стая. И только видели от будки большевики, как заметались в воздухе кулачищи, как сбили обоих на землю и со зверьим ревом заплясали над телами. Выхватил Станко браунинг, Фрунзе кричал чужим голосом:

– Бежим стрелять. Пока не поздно. Товарищи!

Николай Дианов крепко Фрунзе схватил за рукав:

– Куда побежишь, безумный, – или не видишь казаков.

Дрожали в бессильном гневе, но все остались у будки... Вот Павел Павлыч вдруг вскочил, спрыгнул к речке и через мостик мчится сюда... Его подхватили, стащили в лес...

И видно, как поднял окровавленную голову Отец, но вмиг его сбили наземь и снова бешено замолотили глухими, тупыми ударами...

Когда окончена была расправа – повернулась дикая стая, шумно ушла к вокзалу. С черной сотней весело ускакали желтые казаки.

В пустом и тихом поле лежал одиноко кровавый труп Отца.

Тогда подошли товарищи и увидели смятое тело друга. Вкруг по земле студенистой слизию дрожали мозги. Кровью и грязью кровавой было излеплено лицо. В комьях спуталась серебристая черная шершавая борода; обвисли мокрые тяжелые усы. Переломанные, свернулись в дугу ноги. Сквозь разодранную черную рубаху густела синяя, страшная грудь.

Подняли молча труп на руках, несли через речку, вступили в лес, спрятали в глухой чаще.

Из кольев и мешков сладили носилки, положили на них Павла Павлыча, унесли к какому-то ближнему фельдшеру, сдали в надежные руки.

Поздней ночью во тьме уходили из лесу.

Это было 22 октября.

23-го на Управской площади монархисты собрали тысячи народу, разжигали страсти погромными речами:

– Жиды бунтуют Россию.

– Врагов народных – уничтожать, как вшей.

– За нашего государя... за нашего государя.

Попы кадили на площади:

– За веру святую... за господнюю церковь.

И, возбужденные, тронули тысячи к собору.

Попы святили, попы кропили водой, служили молебны, кадили на погром. И вот с иконами, с портретами, с хоругвами – хлынула по городу черная сотня. Два дня громили город. Рыскали по фабрикам, по домам – вытаскивали на расправу «депутатов», рабочих вождей, мучили их, убивали на глазах в смертной дрожи дрожавших ребятишек. Город осатанел в кровавом чаду, в терпком ужасе остыли рабочие корпуса.

И когда, пресытившись буйством, отошла погромная чередка, – решили ночью большевики схоронить Отца, – труп его долгие дни таили от всех. И в глухую ноябрьскую ночь, в ночь на шестое, крались темными переулками к бору.

Привезли на Талку сосновый плотный гроб – гроб обили в багровый кумач. Качались у гроба с концом золотые кисточки, играли в колеблемом факельном зареве. Голову Отца обернули в красное знамя, оправили черный отцовский пинжачок – с него не вытравишь кровавые следы! Пригнули тощие надломленные ноги – втянули в сосновую раму гроба. Шрамами черные полосы расплзлись в чесучовом лице, упали глубоко внутрь пустые широкие глазницы.

В два аршина, неглубоко, взрыли тугую могилу – стояли с заступами на рыхлых бугорках похоронной земли.

Молчала сырая ноябрьская ночь. Пропали звезды в каш-

тановую темень. Плакал сосновый бор похоронным гудом. Плакала тихоструйная Талка, как девочка – робким залихватым звоном. Трещали жестким хрустом оранжевые факелы. Большевики стояли над гробом, словно в забытьи, и глядели в безжизненное лунное лицо Отца.

– Пора, – шепнул кто-то тихо и страшно.

Скрыли под крышку родное лицо. Всколыхнулся в руках кумачовый гроб, сдвинулись факелы, словно засматривая в последний раз на своего факелоносца, и мерно, колеблемый жутью, гроб пропал на дно. И был единый миг, когда над гробом встало гробовое молчание. Кто-то взял с бугорка влажную горсть земли и, осыпав ее в багровую чернь могилы, продышал:

– Эх, Отец, Отец...

И тогда застучали навзрыд слежалые комья, заржали лопаты о стоптанный бугор.

Угрюмы и немые стояли вокруг большевики...

И кто-то, схваченный слезами, протяжно и глухо вывел первое слово гимна.

Над черным полем, над талочьими берегами, по гулкому сосновому бору уходила гулами далеко-далеко песня борьбы и горя. Стояли и пели. Стояли и плакали. Не глядели друг другу в глаза.

Потом встал над могилой Странник, – в зыбком голосе колотились слезы:

– Отец! Прощай, Отец! Прощай, товарищ! Ткачи станут

ходить на твою могилу, крепче стеснят колонны, пойдут по пути, проторенному тобой. Спи, Отец... Теперь уж прощай навсегда!

В черной ноябрьской ночи уходили скорбно от свежей могилы. Смолкали голоса. Потухали факелы. Над талочьими берегами опустилась глухая тишина.

Москва, 3 декабря 1925 г.